

**ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА**

Сборники произведений  
**Виктории Токаревой**  
в издательстве «Азбука-Аттикус»

О том, чего не было  
Летающие качели  
**Ничего особенного**  
Извинюсь. Не расстреляют  
Сказать — не сказать...  
Римские каникулы  
Антон, надень ботинки!  
Можно и нельзя  
Почем килограмм славы  
Этот лучший из миров  
Мужская верность  
Птица счастья  
Террор любовью  
Дерево на крыше  
Тихая музыка за стеной  
Короткие гудки  
Так плохо, как сегодня  
Сволочей тоже жалко  
Муля, кого ты привез?  
Мои мужчины  
Немножко иностранка  
Кругом один обман  
Дома стоят дольше, чем люди

# Виктория Токарева

Ничего особенного

*Рассказы и повести*



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.161.1-3Токарева  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44-я43  
Т51

**Токарева В.**

Т51 Ничего особенного : Рассказы и повести. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 480 с.  
ISBN 978-5-389-08798-9

«Но вообще, честно сказать, я считаю: человек должен быть эгоистом. Карьерист и эгоист. Чтобы ему было хорошо. А если одному хорошо, то и другим вокруг него тоже хорошо. А если одному плохо, то и остальным пасмурно. Так ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а вокруг него ближние водили хороводы».

*В. Токарева*

УДК 821.161.1-3Токарева  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44-я43

ISBN 978-5-389-08798-9

© Токарева В. С., 1983

© Оформление.

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018  
Издательство АЗБУКА\*

## САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

*(рассказ акселератки)*

Нам задали классное сочинение на тему: «Самый счастливый день в моей жизни».

Я раскрыла тетрадь и стала думать — какой у меня был в жизни самый счастливый день? Я выбрала воскресенье — четыре месяца назад, когда мы с папой утром пошли в кино, а после этого сразу поехали к бабушке. Получилось двойное развлечение. Но наша учительница Мария Ефремовна говорит: человек бывает по-настоящему счастлив только в том случае, когда приносит людям пользу. А какая польза людям от того, что я была в кино, а потом поехала к бабушке? Я могла бы не учитывать мнения Марьи Ефремовны, но мне надо исправить оценку в четверти. Я могла бы иметь и тройку в четверти, но тогда меня не переведут в девятый класс, а отправят в ПТУ. Мария Ефремовна предупредила, что сейчас в стране переизбыток интеллигенции и дефицит в рабочем классе, так что из нас будут создавать фонд квалифицированной рабочей силы.

Я заглянула в тетрадь своей соседки Ленки Коноваловой. Ленка строчила с невероятной скоростью и страстью. Ее самый счастливый день был тот, когда ее принимали в пионеры.

Я стала вспоминать, как нас принимали в пионеры в Музее погранвойск и мне не хватило пионерского значка. Шефы и вожатые забегали, но значка так и не нашли. Я сказала: «Да ладно, ничего...» Однако настроение у меня испортилось, и я потом была невнимательна. Нас повели по музею и стали рассказывать его историю, но я ничего не запомнила, кроме того, что мы когда-то делили с японцами какую-то речку и даже разодрались. Однако до войны дело не дошло. А может, я что-то путаю. Я такие вещи вообще не запоминаю. Мне это совершенно неинтересно.

Однажды мы с мамой отвели домой пьяного ханурика. Он потерял ботинок и сидел на снегу в одном носке. Мама сказала: нельзя его бросать на улице, может, у него несчастье. Мы спросили, где он живет, и отвели его по адресу. От этого поступка была наверняка большая польза, потому что человек спал не на сугробе, а у себя дома и семья не волновалась. Но самым счастливым днем это не назовешь: ну отвели и отвели...

Я перегнулась вправо и заглянула в тетрадь Машки Гвоздевой. Она сидит впереди меня. Я там ничего не разобрала, но Машка наверняка пишет, что самый счастливый день был тот, когда у них взорвался испорченный синхрофазотрон и им дали новый. Эта Машка просто помещана на схемах и формулах. У нее выдающиеся математические способности, и она уже знает, куда будет поступать. У нее есть смысл жизни. А у меня единственное, что есть, как говорит Ма-

рья Ефремовна, — это большой словарный запас, и я легко им орудую. Поэтому мне в музыкальной школе поручают доклады о жизни и творчестве композиторов. Доклад пишет учитель по музыке, а я его зачитываю по бумажке. Например: «Бетховен — плебей, но все, что он достиг в жизни, он достиг своим трудом...» И еще я объявляю на концертах, например: «Сонатина Клементи, играет Катя Шубина, класс педагога Рассоловского». И это звучит убедительно, потому что у меня рост, цвет лица и фирменные вещи. Цвет лица и фирма мне перешли от мамы, а рост — непонятно откуда. Я где-то читала, что в современных панельно-блочных домах, не пропускающих воздух, созданы условия, близкие к парниковым, и поэтому дети растут, как парниковые огурцы.

Машка Гвоздева, безусловно, попадет в интеллигенцию, потому что от ее мозгов гораздо больше пользы, чем от ее рук. А у меня ни рук, ни мозгов — один словарный запас. Это даже не литературные способности, просто я много знаю слов, потому что я много читаю. Это у меня от папы. Но знать много слов совершенно не обязательно. Мальчишки в нашем классе вполне обходятся шестью словами: точняк, нормалек, спокуха, не кисло, резко, структура момента. А Ленка Коновалова любую беседу поддерживает двумя предложениями: «Ну да, в общем-то...» и «Ну да, в общем-то, конечно...». И этого оказывается вполне достаточно: во-первых, дает возможность говорить собеседнику, а это всегда приятно. Во-вторых, поддерживает его сомнения. «Ну да, в общем-то...», «Ну, в общем, конечно».

Неделю назад я слышала по радио передачу о счастье. Там сказали: счастье — это когда что-то хочешь и добиваешься. А очень большое счастье — это когда что-то очень хочешь и добиваешься. Правда, потом, когда добьешься, — счастье кончается, потому что счастье — это дорога к осуществлению, а не само осуществление.

Что я хочу? Я хочу перейти в девятый класс и хочу дубленку вместо своей шубы. Она мне велика, и я в ней как в деревянном квадратном ящике. Хотя мальчишки у нас в раздевалке режут бритвой рукава и срезают пуговицы. Так что дубленку носить в школу рискованно, а больше я никуда не хожу.

А что я очень хочу? Я очень хочу перейти в девятый класс, поступить в МГУ на филологический и познакомиться с артистом К. К. Мама говорит, что в моем возрасте свойственно влюбляться в артистов. Двадцать лет назад она тоже была влюблена в одного артиста до потери пульса, и весь их класс сходил с ума. А сейчас этот артист разжирел как свинья, и просто диву даешься, что время делает с людьми.

Но мама меня не понимает, я вовсе не влюблена в К. К. Просто он играет д'Артаньяна, и так он замечательно играет, что кажется, будто К. К. — это и есть сам д'Артаньян — талантливый, неожиданный, романтический. Не то что наши мальчишки: «точняк», «нормалек» и ниже меня на два сантиметра.

Я смотрела «Мушкетеров» шесть раз. А Рита Погосян — десять раз. Ее мама работает при гостинице «Минск» и может доставать билеты куда угодно, не то что мои родители — ничего достать не могут, живут на общих основаниях.



Однажды мы с Ритой дождались К. К. после спектакля, отправились за ним следом, сели в один вагон метро и стали его разглядывать. А когда он смотрел в нашу сторону, мы тут же отводили глаза и фыркали. Рита через знакомых выяснила: К. К. женат и у него есть маленький сын. Хорошо, что сын, а не дочка, потому что девочек любят больше, а на мальчишек тратится меньше нежности, и, значит, часть души остается свободной для новой любви. У нас с К. К., правда, большая разница в возрасте — двадцать лет. Через пять лет мне будет восемнадцать, а ему тридцать восемь. Но пусть это будет его проблемой. А молодость еще никогда и никому не мешала.

Рита сказала, что К. К. — карьерист. В Америке из-за карьеры стреляют в президентов. И ничего. То есть, конечно, «чего», но еще не такие дела делаются из-за карьеры. Неизвестно — отрицательная это черта или положительная. Мой папа, например, не карьерист, но что-то большого счастья на его лице я не вижу. У него нет жизненного стимула и маленькая зарплата. Недавно я на классном часе докладывала о политической обстановке в Гондурасе. Честно сказать, какое мне дело до Гондураса, а ему до меня, но Марья Ефремовна сказала, что аполитичных не будут переводить в девятый класс. Я подготовилась как миленькая и провела политинформацию. Буду я рисковать из-за Гондураса.

Ленка Коновалова перевернула страницу — исписала уже половину тетради. А я все сижу и шарю в памяти своей самый счастливый день.

В передаче о счастье запомнила такую фразу: «Перспектива бессонных ночей, за штурвалом

комбайна...» Может быть, комбайнер тоже был карьерист.

Вообще, если честно, мои самые счастливые дни — это когда я возвращаюсь из школы и никого нет дома. Я люблю свою маму. Она на меня не давит, не заставляет заниматься музыкой и есть с хлебом. При ней я могу делать то же самое, что и без нее. Но все-таки это — не то. Она, например, ужасно неаккуратно ставит иглу на пластинку, и через динамики раздается оглушительный треск, и мне кажется, что иголка царапает мое сердце. Я спрашиваю: «Нормально ставить ты не можешь?» Она отвечает: «Я нормально ставлю». И так каждый раз.

Когда ее нет дома, в дверях записка: «Ключи под ковриком. Еда на плите. Буду в шесть. Ты дура. Целую, мама».

Я читала в газете, что Москва занимает последнее место в мире по проценту преступности. То есть Москва — самая спокойная столица в мире. И это правда. Я убедилась на собственном опыте. Если бы самый плохонький воришка-дилетант и даже просто любопытный, с дурными наклонностями человек прошел по нашей лестнице и прочитал мамину записку, то получил бы точную инструкцию, что ключи под ковриком. Открывай дверь и заходи. Еда на плите — разогревай и обедай. А хозяйева явятся в шесть. Так что можно не торопиться и даже отдохнуть в кресле с газетой, а около шести — уйти, прихватив папины джинсы, кожаный пиджак и мамину дубленку, отделанную аляскинским волком. Больше ничего ценного в нашем доме нет, потому что мы — интеллигенция и живем только на то, что зарабатываем.

Мама говорит: когда человек боится, что его обворуют, его обязательно обворуют. В жизни всегда случается именно то, чего человек боится. Поэтому никогда не надо бояться. И это точно. Если я боюсь, что меня спросят, — меня обязательно спрашивают.

Когда я выхожу из лифта и вижу записку, я радуюсь возможности жить как хочу и ни к кому не приспособливаться. Я вхожу в дом. Ничего не разогреваю, а ем прямо со сковороды, руками и в шубе. И стоя. Холодное — гораздо вкуснее. Горячее — отбивает вкус.

Потом я включаю проигрыватель на полную мощность и зову в гости Ленку Коновалову. Мы с ней вырываем из шкафа все мамины платья, начинаем мерить их и танцевать. Мы танцуем в длинных платьях, а ансамбль «Синяя птица» надрывается: «Не о-би-жайся на меня, не оби-жайся, и не жалей, и не зови, не достучишься до любви». А в окно хлещет солнце.

Потом Ленка уходит. Я сажусь в кресло, закутываюсь в плед и читаю. Сейчас я читаю две книги: рассказы Хулио Кортасара и пьесы Александра Вампилова. Эти книги маме подарили ее подхалимы.

У Вампилова мне очень нравится: «Папа, к нам пришел гость и еще один». А папа отвечает: «Васенька, гость и еще один — это два гостя...» Я читаю и вижу перед глазами К. К., и мне бывает грустно, что все-таки он женат и у нас большая разница в возрасте.

А у Кортасара в рассказе «Конец игры» есть слова «невыразимо прекрасно». Они так действуют на меня, что я поднимаю глаза и думаю. Иногда мне кажется, что жить — невыразимо

прекрасно. А иногда мне становится все неинтересно, и я спрашиваю у мамы: «А зачем люди живут?» Она говорит: «Для страданий. Страдания — это норма». А папа говорит: «Это норма для дураков. Человек создан для счастья». Мама говорит: «Ты забыл добавить: как птица для полета. И еще можешь сказать — жалость унижает человека». Папа говорит: «Конечно, унижает, потому что на жалость рассчитывают только дураки и дуры. Умные рассчитывают на себя». А мама говорит, что жалость — это сострадание, соучастие в страдании, и на нем держится мир, и это тоже талант, который доступен немногим, даже умным.

Но спорят они редко, потому что редко видятся. Когда папа вечерами дома — мамы нет. И наоборот. Если мамы нет — папа читает газеты и смотрит по телевизору хоккей. (У нас была няня, которая не выговаривала «хоккей» и произносила «фокея».) Посмотрев «фокею», прочитав газеты, папа требует мой дневник и начинает орать на меня так, будто я глухая или нахожусь в соседней квартире, а он хочет, чтобы я услышала его через стенку. Когда папа кричит, я почему-то не боюсь, а просто хуже понимаю. Мне хочется попросить: «Не кричи, пожалуйста, говори спокойно». Но я молчу и только моргаю.

Иногда мама приходит довольно поздно, однако раньше отца. Она видит, что его дубленки нет на вешалке, и ужасно радуется. Быстро переодевается в пижаму, и мы с ней начинаем танцевать на ковре посреди комнаты, вскидывая ноги, как ненормальные, обе в пижамах и босиком. У мамы пижама в ромбик, а у меня в горошек.

Мы ликуем, но шепотом, сильно разевая рты, и нам бывает невыразимо прекрасно.

А когда у мамы библиотечные дни и она целый день дома, готовит еду на несколько дней, а отца нет до позднего вечера, — вот тут-то она появляется у меня в комнате, не учитывая, что мне надо спать, а не разговаривать, и начинает из меня варить воду.

Она говорит:

— По-моему, он от нас ушел.

Я говорю:

— А как же кожаный пиджак и джинсы? Без них он не уйдет.

— Но он может прийти за ними позже.

— Глупости, — говорю я. — От меня он никуда не денется.

Однако я пугаюсь, и у меня начинает гудеть под ложечкой и щипать в носу. Я не представляю своей жизни без отца. Я скачусь на одни тройки и двойки. Я вообще брошу школу и разложусь на элементы. Я получаю хорошие оценки исключительно ради отца, чтобы ему было приятно. А мне самой хватило бы и троек. И маме тоже хватило бы. Она рассуждает так: «Три — это удовлетворительно. Значит, государство удовлетворено».

— Я с ним разведусь, — говорит мама.

— Причина?

— Он мне не помогает. Я сама зарабатываю деньги. Сама стою в очередях и сама таскаю кошелки.

— А раньше было по-другому?

— Нет. Так было всегда.

— Тогда почему ты не развелась с ним раньше, десять лет назад?

- Я хотела обеспечить тебе детство.
- Значит, когда я была маленькая и ничего не понимала, ты обеспечивала мне детство. А сейчас, когда я выросла, ты хочешь лишить меня близкого человека. Это предательство с твоей стороны.
- Ну и пусть.
- Нет, не пусть. Тогда я тоже не буду с тобой считаться.
- У тебя впереди вся жизнь. А мне тоже хочется счастья.

Я не понимаю, как можно в тридцать пять лет, имея ребенка, хотеть какого-то еще счастья для себя. Но сказать так — нетактично. И я говорю:

- А где ты видела счастливых на все сто процентов? Вон тетя Нина моложе тебя на пять лет, худее на десять килограммов, однако без мужа живет и ездит каждый день на работу на двух видах транспорта, полтора часа в один конец. И занимается каким-то химическим машиностроением, чтобы заработать на кусок хлеба. А ты — работаешь через дорогу, любишь свою работу, все тебя уважают. Занимаешь свое место в жизни. Вот уже пятьдесят процентов. Я — удачный ребенок. Здоровый и развитый. Еще сорок пять. Ничем не болеешь — один процент. Вот тебе уже девяносто шесть процентов счастья, остается четыре процента... Но где ты видела счастливых на сто процентов? Назови хоть кого-нибудь.

Мама молчит, раздумывает — кого назвать. И в самом деле — никто не счастлив на все сто процентов. «В каждой избушке свои погремушки». Или как я где-то вычитала: «У каждого в шкафу свой труп». Но маму не утешает чужое

недосчастье. Она хочет свои недостающие четыре процента вместо первых пятидесяти. Сидит на моей постели и дрожит, как сирота. Я говорю: — Ложись со мной. Я тебя присплю.

Она ложится ко мне под одеяло. Ступни у нее холодные, и она сует их мне в ноги, как эгоистка. Но я терплю. На мой глаз капает ее слеза. Я опять терплю. Я ее очень люблю. У меня даже все болит внутри от любви. Но я понимаю, что, если начать ее жалеть, она раскиснет еще больше. И я говорю:

— Поди посмотри на себя в зеркало при свете дня. Ну кому ты нужна, кроме нас с папой? Ты должна жить для нас.

Но вообще, честно сказать, я считаю: человек должен быть эгоистом. Карьерист и эгоист. Чтобы ему было хорошо. А если одному хорошо, то и другим вокруг него тоже хорошо. А если одному плохо, то и остальным пасмурно. Так ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а вокруг него ближние водили хороводы.

Тихо скрипит ключ, это папа осторожно вводит ключ в замок, чтобы нас не разбудить. Потом он на цыпочках входит в прихожую, стоит какое-то время, видимо, раздевается. И так же на цыпочках идет в свою комнату, и половицы виновато поскрипывают. Как-то бабушка сказала, что папа себя не нашел. И когда он ступает на цыпочках, мне кажется — он ходит и ищет себя, не зажигая свет, заглядывая во все углы. И мне его ужасно жалко. А вдруг и я не найду себя до сорока лет и не буду знать, куда себя девать.

Заслышав папины шаги, мама успокаивается, и засыпает на моем плече, и дышит мне в щеку. Я обнимаю ее и держу как драгоценность. Я лежу

и думаю: хоть бы она скорее растолстела, что ли... Я мечтаю, чтобы мои родители постарели и растолстели, тогда — кому они будут нужны, толстые и старые? Только друг другу. И мне. А сейчас они носятся колбасой, худые и в джинсах. Мне иногда кажется, что одна нога каждого из них зарыта, а другой они бегут в разные стороны. Но куда убежишь с зарытой ногой?

Между прочим, у Ленкиной мамыши вообще нет мужа, трое детей — все от разных отцов, слепая бабка, две кошки и щенок. Однако у них в доме — шумно, хламно и весело. Может быть, потому, что Ленкиной мамаше некогда в гору глянуть. Когда у человека остается свободное время, он начинает думать. А если начать думать, обязательно до чего-нибудь додумаешься.

Однажды, год назад, на нашей улице маленький мальчишка попал под машину. Все побежали смотреть, а я побежала домой. Я тогда ужасно испугалась, но не за себя, а за моих родителей. Я и сейчас боюсь: вдруг со мной что-нибудь случится, попаду под машину или вырасту и выйду замуж? На кого я их оставляю?

И что они будут делать без меня?..

Загоруйко подошел к Марье Ефремовне и сдал тетрадь. Наверное, для него самый счастливый день будет тот, когда «битлы» снова объединятся в ансамбль. Загоруйко знает все современные зарубежные ансамбли: «Кисс», «Квин», «Бони М». А я только знаю: «Бетховен плебей...», серенаду Шумана по нотам и кое-что по слуху.

Я посмотрела на часы. Осталось шестнадцать минут. Раздумывать больше некогда, иначе мне поставят двойку, не переведут в девятый класс,



и я буду токарь-наладчик или буду швея-мотористка. Швея с большим словарным запасом.

Я решила написать, как мы сажали вокруг школы деревья. Где-то я прочитала: каждый человек за свою жизнь должен посадить дерево, родить ребенка и написать книгу о времени, в котором он жил.

Я вспоминала, как тащила полное ведро чернозема, чтобы засыпать в лунку и дерево лучше прижилось. Подошел Загоруйко и предложил:

— Давай помогу.

— Обойдусь, — отказалась я и поволокла ведро дальше. Потом я высыпала землю в лунку и разжала ладони.

На ладонях был след от дужки ведра — глубокий и синий. Плечи ныли, и даже ныли кишки в животе.

— Устала, — сообщила я окружающим с трагическим достоинством.

— Так и знал! — ехидно обрадовался Загоруйко. — Сначала пижонила, а теперь хвастаться будет.

Противный этот Загоруйко. Что думает, то и говорит, хотя воспитание дано человеку именно для того, чтобы скрывать свои истинные чувства. В том случае, когда они неуместны.

Но что бы там ни было, а дерево прижилось и останется будущим поколениям. И, значит, за содержание Марья Ефремовна поставит мне пятерку, а ошибок у меня почти не бывает. У меня врожденная грамотность.

Я снова посмотрела на часы. Осталось одиннадцать минут. Я встряхнула ручкой, она у меня перьевая, а не шариковая, и принялась писать о том дне, когда мы с папой пошли утром в кино,

а после поехали к бабушке. И пусть Марья Ефремовна ставит мне что хочет. Все равно ни эгоистки, ни карьеристки из меня не получится. Буду жить на общих основаниях.

Я написала, что кинокомедия была ужасно смешная, с Де Фюнесом в главной роли, и мы так хохотали, что на нас даже оборачивались и кто-то постучал в мою спину согнутым пальцем, как в дверь. А у бабушки было как всегда. Мы сидели на кухне и ели очень вкусную рыбу (хотя мама утверждает, что бабушкина рыба — несоленая и пахнет аммиаком, будто ее вымачивали в моче). Но дело ведь не в еде, а в обстановке. Меня все любили и откровенно мною восхищались. И я тоже всех любила на сто процентов и тем самым приносила огромную пользу. У меня глаза папины, у папы — бабушкины — карие, бровки домиком. Мы глядели друг на друга одними и теми же глазами и чувствовали одно и то же. И были как дерево: бабушка — корни, папа — ствол, а я — ветки, которые тянутся к солнцу.

И это было невыразимо прекрасно.

Конечно, это был не самый счастливый день в моей жизни. Просто счастливый. А самого счастливого дня у меня еще не было. Он у меня — впереди.

## коррида

— Внимание! Мотор! Начали!

Сереза Кириллов пошел по дороге, как идет пьяный человек. Не актер, играющий пьяного. А именно пьяный: с напряженной спиной, неточными ногами.

Аникеев подумал, что Сереза успел где-то выпить с утра или не протрезвел с вечера. Это не имело значения. Шел он замечательно, и в душе Аникеева зажглись радость, веселая сосредоточенность и азарт. Должно быть, похожее чувство испытывает гончая собака, верно идущая по следу.

Аникеев махнул рукой. Ярко-красный «жигуль» хорошо взял с места. Хорошо пошел... Сейчас должен быть Серезин прыжок. Сереза должен отскочить как от удара. «Жигуль» должен проехать, не останавливаясь... Скрежет тормозов... Сереза отскакивает, но почему-то не в сторону, а вперед. Падает. Лежит лицом вниз, припав щекой к дороге. Лежит хорошо, не как актер, играющий аварию, а как сбитый машиной

человек. Но почему машина остановилась? Она должна идти дальше и не сбавлять скорость... А машина стоит, и шофер положил голову на руль. Отдохнуть, что ли, решил?

Аникеев стоял, ничего не понимая, и вдруг почувствовал: что-то непостижимое разлилось в воздухе. И птицы отлетели. Он растерянно обернулся. Съёмочная группа застыла — каждый в своей позе, со своим выражением лица, будто в детской игре «замри-отомри». Через мгновение все задвигалось, устремилось к дороге.

Аникеев протолкался сквозь спины, плечи.

Сереза лежал расслабившись, как во время йоговской гимнастики. И по тому, как покорно прислонился лицом к дороге, чувствовалось — это не человек. Это тело.

Районная больница выглядела неубедительно. Но хирург, молодой и серьезный, производил впечатление. А даже если бы и плохое... Выхода не было.

Сидели на деревянной лавке в закутке, где принимают передачи. Съёмочная группа разбилась на маленькие группки, жались, как козы. Лица у всех были разнесчастные. Серезу любили. А даже если бы и не любили...

Аникеев подумал: хорошо, что сейчас нет Серезиной жены Светланы. Она бы учинила самосуд и всех истребила без суда и следствия: сначала шофера Пашу Приходько, потом бы его, Аникеева, а потом сама бы повесилась на крюке. А может, плохо, что Светланы нет. Она не разрешила бы Серезе пить. Или не разрешила сниматься пьяным. И все было бы сейчас по-другому: отсняли бы финальную сцену. И самые первые кадры — те, что идут до титров.

Сереза не взял Светлану в экспедицию, потому что хотел отдохнуть от ее любви и сильного характера. Светлана — профессиональная жена. У нее нет другой профессии и другого призвания, кроме Серези. И если бы Сереза, например, стал непьющий, нормальный, положительный товарищ — Светлане просто нечего было бы делать на своей должности. И очень может быть, она бы с нее ушла.

Таких женщин Лилька называет крестonosцы, и удивительно, как эти крестonosцы находят свои кресты.

Время тянулось настолько медленно, что практически не двигалось. Оно остановилось и стояло в этой деревянной больничке, пропахшей старым хлебом.

Можно было обо всем подумать. Аникеев сидел и думал беспорядочно то об одном, то о другом. О том, например, что если его посадят в тюрьму, то Лилька будет ждать и Славку воспитывать правильно. А может, даже отдаст Славку старикам и сама припрется на поселение. Будет околачиваться за колючей проволокой с несчастным лицом, чтобы Аникеев наглядно видел, что она его любит и страдает. А ему было бы легче? Ну конечно...

Потом стал думать: посадить, конечно, не посадят, потому что виноват актер. Все было рассчитано. Техника безопасности соблюдена. Машина должна была пройти на полметра позади Серези. Сереза должен был отскочить, но он не отскочил и, более того, нарушил эти пятьдесят сантиметров. Не дал дорогу машине. Так что посадить не посадят, но могут лишиться права постановки. Все-таки человеческая жизнь

есть жизнь, и нельзя сделать вид, что ничего не случилось. Нужно кого-то наказать. Да и Светлана за этим делом проследит, можно не сомневаться.

Лишиться права постановки и сесть в тюрьму для Аникеева было примерно одно и то же. Он не умел жить вне работы и, где проводить свое свободное время — в кругу семьи или на лесоповале, — ему было почти все равно. По-настоящему он любил только вымышленный мир, который сам придумал, сам записывал на бумаге, а потом снимал на пленку, а потом монтировал в фильм. А потом, в срок сдачи, он надевал строгий костюм, белую рубашку с модным галстуком — садился и смотрел. И все. Дальше шли премьеры, банкеты, пресса, кинопанорамы, призы, заграничные поездки, но все это не имело отношения к той, вымышленной жизни, а значит, было неинтересно. Отсняв фильм, Аникеев терял к нему всякий интерес, как к отшумевшей любви, когда смотришь и не понимаешь: что ты раньше здесь находил? Он уже заболел новым замыслом, и этот новый замысел казался ему самым значительным изо всего, что он делал до сих пор. И единственное, чего Аникеев в этих случаях боялся: умереть раньше, чем закончит работу. Главное — закончить, а потом — хоть потоп! И жизнь он любил только за возможность уйти от нее в свой вымышленный мир. А реальный мир он не любил и побаивался. Реальностью занималась Лилька.

Зачем гончая идет по следу? Не затем же, что ей, собаке, так уж нужен заяц. Она обойдется и без зайца. И не для хозяина, то есть, конечно, для хозяина. В большей степени для него.

Но в основном потому, что гончая собака — это гончая. И никакая другая. И ее назначение — природа, погоня, ошеломляюще острый нюх — стихия катастрофических запахов и тот единственный, различимый среди всех, заставляющий настигнуть. Победить. И принести хозяину. И когда гончая возвращается домой, в свою конуру или на подстилку в доме, туда, где она живет, то остаток дня она проводит как обыкновенная собака — дворняга или болонка. И она переживает этот кусок времени, чтобы дожждаться следующего рассвета, когда снова лес, и след, и ощущение, которого не знает ни одна собака.

Так и Аникеев. Вне работы он скучал, перебогался, был занудливым, не любил застоля. Ну, сядешь за рюмкой. Ну, выслушаешь чью-то точку зрения по поводу чего-то. Ну, изложишь свою точку зрения, которая может совпадать с мнением предыдущего оратора, а может быть противоположной. Ну даже если поспоришь и в ссоре родишь истину. Ну и что? Что это за истина? И что изменится в мире, оттого что ты на нее набрел?

Надоело говорить, и спорить, и любить усталые глаза. То ли дело сделать в воздухе жест, одной кистью, как фокусник — и на развернутой ладони твои герои. Еще жест — куда-то за ухо, и вот герои уже живут по своим собственным законам и все время спрашивают: почему? А он, Аникеев, должен за них думать — почему так, а не по-другому?

Аникеев вывел два собственных закона, по которым он разрабатывал характеры: математика и интуиция. Характер — это судьба. А всякая

судьба подчиняется математической логике, и ее можно высчитать. Потому что причины и следствия стоят в строгой зависимости друг от друга и ничего не бывает «вдруг». Наверняка это открытие уже существует, и какой-то ученый уже имеет патент, но Аникеев дошел до этого открытия самостоятельно, своим умом. Если взять за исходную точку определенный человеческий поступок, то потом можно точно высчитать — чем это кончится для данного характера. Народная мудрость этот закон сформулировала так: что посеешь, то пожнешь. Если бы этой пословицы не существовало в фольклоре, Аникеев дошел бы до нее своим умом и именно так бы ее и сформулировал.

Математика — это то, что можно объяснить. А интуиция — это то, чего объяснить нельзя. Пока нельзя. Аникеев предполагал, что интуиция — это тоже математика, но другая, основанная не на цифрах, а на чем-то, что еще не изучено, но наверняка существует в природе и будет со временем обязательно и оформлено в закон.

Например, Аникеев был точно уверен, что с Сережей скоро что-то произойдет. Сережа и математически, и интуитивно шел к своему концу. Отсюда этот взгляд, исполненный трагизма. Плохое слово «исполненный». Но именно исполненный, полный и переполненный тревогой, тоской. Отсюда эта иссушенность, злость, нежная душа. Отсюда эта детская линия рта. Прекрасная игра. Он играл, перевоплощался, как никогда, всею силой своего таланта — и это тоже было как перекаливание лампы перед концом.



А как его любили женщины.. Когда встречали эти глаза, этот рот — всем, даже самым гордым и порядочным женщинам хотелось прижать к себе, притиснуть руками, общептать растерянное лицо: «Тихо, тихо, успокойся, все будет хорошо...» И прижимали. И шептали. И он слушал, а потом уходил. Просачивался, как песок сквозь пальцы. Только что был. И нет. Плевать ему на этих женщин, на их надежды. И на себя в том числе. Он болел равнодушием. А теперь вот гибнет — и плевать ему на то, что мог бы пожить еще сорок лет. И на картину плевать. И на Аникеева.

Природе не безразлично — поэтому, когда он упал, что-то непостижимое разлилось в воздухе. И птицы отлетели. А Сережа припал щекой к дороге и отдыхает. Ото всех и ото вся. Лежит себе без сознания и ничего не осознает: ни боли, ни ответственности.

А как быть с картиной? Что делать дальше? Искать другого актера и переснимать весь материал? Или доснять то, что осталось, с дублером? Натурные съемки на реке можно снять с дублером. Найти такую же тощую фигуру, посадить в лодку — и все дела. Но павильон... Крупные планы. Нужны Сережины глаза. А где их взять...

Может быть, законсервировать картину, скажем на год, и подождать Сережу, если он останется жив. Но что будет через год? Через год Аникеев может не захотеть вернуться к этой картине. Он может стать другим, и то, что занимает его сегодня, через год может показаться полной белибердой. Мурой собачьей. А может, через год Лилька бросит или усталость грянет в сердце.

А снимать с усталым сердцем — все равно что идти по следу с насморком. Гончая бежит и ничего не слышит. Бежит, только чтобы видели, что она бежит. Нет. Откладывать нельзя. И если его не лишат права постановки, надо будет заменить Сережу другим. Но другой — это другой. Другая картина.

... Что было вначале? Водка или равнодушие? Что причина, а что следствие? Понимая все, Аникеев понимал и то, что Сережа не может не пить. Водка бросала его оземь и ниже — в преисподнюю. А творчество возносило как угодно высоко. К самым звездам. И только в выси понимаешь, как тянет преисподняя. И только в преисподней знаешь, как зовут звезды. Вот эти состояния — от самого дна до космоса — были необходимы его душе, и только они спасали от равнодушия. И не спасли. А сейчас поднимется хипеж, дойдет до начальства, начнут разбираться, ставить «классические вопросы»: «кто виноват?» да «что делать?».

Математика и интуиция. Вот и все. Что посеешь, то пожнешь.

Ассистентка по актерам Зина сбегала в магазин и принесла килограмм пошехонского сыра и серый хлеб. Хлеб был свежий, с хрустящей коркой, какого-то особого помола. Такого не было в Москве.

Аникеев взял в руки кусок хлеба, хотел откусить, но не мог. Не кусалось и не глоталось.

Перед глазами все время, как навязчивый рефрен, прокручивается мгновение, когда Сережа летит и падает. Летит довольно нелепо. И падает очень тяжело. Если бы вместо Сережи был каскадер, как планировали накануне съемок, то каска-

дер отскочил и упал бы ловко и даже красиво, как циркач. А правда — это правда.

Аникеев вдруг вспомнил, что оператор стрелкотал камерой до тех пор, пока все не побежали к дороге. Значит, он снял гибель Сережи, и этот документальный кусок можно будет использовать в картине. А поскольку сцена гибели героя — финальная сцена, то конец получится сильный. То смятение, соучастие в несчастье, которое заставило людей застыть, а птиц отлететь, передалось и на пленку. А значит, достанет зрителей. Кино окончится, свет зажгут, а зал все будет сидеть, как в детской игре «замри». Потом в конце концов выйдут на улицу, на свежий воздух, а все равно будут двигаться, как сомнамбулы. Чужое горе будет держать за шиворот.

Надо будет посмотреть материал, и если нет брака в пленке, то конец — есть. А это — полдела. Как говорил мастер в институте: «Конец — делу венец». Еще мастер говорил: «Сюжет. Учтите, самое главное — сюжет. Зритель идет не на актеров, а на историю. Актер ничего не сможет сделать, если нет истории. Если вы хотите проверить, готов сюжет или нет, посадите кого-нибудь перед собой, все равно кого, и расскажите ему фильм в двух словах. Если расскажется и будет интересно, значит, сюжет готов. Если начнете мекать, пекать и объяснять — значит, не додумано. Думайте дальше...»

Многое из того, чему учили во ВГИКе, не пригодилось. Но этот мастерский совет Аникеев проверил не раз на собственной шкуре и на опыте других. Он убедился: любое отвлечение от сюжета — философское, эстетическое, эмоцио-

нальное, какой угодно поток сознания, всплески гения — все это возможно лишь внутри жестко сколоченного сюжета. Любые, самые бескрайние воды должны иметь свои берега, а иначе — всемирный потоп. Иначе — провал.

Провалиться легко. А восстановить свое имя — практически невозможно. Будут говорить: «Какой Анিকেев?» — «А-а-а... Это тот...» И дальше следует мимика и жест, означающий недоверие. Больше всего на свете Анিকেев боялся эпидемии недоверия. Боялся провала. Тогда придется ходить с прямой спиной, гордо вскинутой головой: не просто Алеша Анিকেев — два Алеша, пять Алеш, местный миллионер Алеша — чтобы другие не догадались, что он и сам в себя не верит, что его практически больше нет.

Провалиться для Аникеева — это значит умереть душой, той частью, где живет интуиция. И тогда уже гончая — это не гончая, а просто биологическая особь на четырех лапах, с хвостом и зачем-то длинными ушами.

Аникеев боялся провалиться каждый раз, и каждый раз ему казалось, что это уже происходит, и каждый раз он недоумевал, когда картина все-таки удавалась. Примерно похожее недоумение он испытывал, глядя на Славку. Он не понимал, что этот самостоятельный пятилетний человек с руками, ногами и головой отпочковался от него, является его частью, так же ходит и так же плачет.

— Зина! — окликнул Анিকেев.

Ассистентка по актерам Зина поднялась с лавки и подошла к Аникееву. Она была похожа на французскую певицу Мирей Матье, но похуже — без успеха и без нарядов.

— Давай выйдем, — попросил Анিকেев.

## содержание

### *рассказы*

самый счастливый день (рассказ акселератки) .....	5
коррида .....	19
сто грамм для храбрости .....	50
кошка на дороге .....	77
любовь и путешествия .....	91
зигзаг .....	98
нахал .....	106

### *повести*

старая собака .....	116
неромантичный человек .....	177
лошади с крыльями .....	240
ни сыну, ни жене, ни брату .....	298
ничего особенного .....	375
звезда в тумане .....	424

Литературно-художественное издание

*токарева*  
*виктория самойловна*  
НИЧЕГО ОСОБЕННОГО

Редактор Д.ГУРЬЯНОВ

Технический редактор Л.СЕНИЦЫНА

Корректоры Т.ЧЕРНЫШЕВА, Т.ФИЛИППОВА

Компьютерная верстка Т.КОРОВЕНКОВОЙ

В оформлении обложки использовано фото

© Shebeko/shutterstock.com

Фото на задней стороне обложки из личного архива автора

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» –  
обладатель товарного знака «Азбука»  
115093, Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. №1  
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19  
E-mail: sales@atticus-group.ru

Филиал ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус»  
в г. Санкт-Петербурге  
191123, Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 12, лит. А  
Тел. (812) 327-04-55  
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

ЧП «Издательство «Махаон-Украина»  
Тел./факс (044) 490-99-01  
e-mail: sale@machaon.kiev.ua

[www.azbooka.ru](http://www.azbooka.ru); [www.atticus-group.ru](http://www.atticus-group.ru)



Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

Подписано в печать 07.09.2018

Формат 75×100 1/32. Бумага газетная.

Гарнитура «Original Garamond»

Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,4

Доп. тираж 2000 экз. В-TGP-16809-05-R. Заказ №

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт». 170546, Тверская область,  
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3 А  
[www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)